

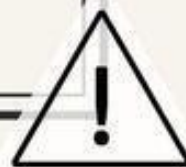
18+

ГАСТОН Д'АРСИ

2971 минута

нам целый мир — чужбина

1984



Гастон Д'Арси

2971 минута

«Издательские решения»

Д'Арси Г.

2971 минута / Г. Д'Арси — «Издательские решения»,

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ
УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Я**

запустил хронометр в тот момент, когда закрыл дверь. Тогда я ещё не знал, что остановлю его через 2971 минуту. Между этими двумя нажатиями — поезд на Париж, брестская таможня, два Берлина, три коробки книг, которые так и остались нераскрытыми памятниками моему страху. И понимание, пришедшее только в конце: всё это время шло не со мной. Это я шёл внутри него.

© Д'Арси Г.

© Издательские решения

2971 минута

Гастон Д'Арси

© Гастон Д'Арси, 2026

ISBN 978-5-0071-0130-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Куда бы нас ни бросила судьбина, И счастье куда б ни повело, Всё те же мы: нам целый мир — чужбина...

— А. С. Пушкин

НЕИЗВЕСТНОСТЬ, страх перед (лат. *horror incogniti*; греч. *ἄγνωστοφοβία*):

Устойчивое аффективное состояние, возникающее при столкновении субъекта с ситуацией, в которой отсутствует или принципиально недостижима информация, необходимая для прогнозирования исхода.

Минута 0. Москва.

Минута 0. Москва. 14:41 GMT+3

Я тогда ещё не знал, что остановлю его через 2971 минуту.

Я посмотрел на часы. Casio AT-550. Подарок на мои прошлогодние четверть века. Символ статуса. На правом запястье.

Почему на правом — я не знал.

Никогда не знал.

И не пытался объяснить. Но часы носил именно на правом.

Может, мне, переученному в правшу, так было удобнее. Или — статуснее.

На циферблатах, их было два, два разных времени.

Два пояса. Часовых. Главный, аналоговый, стрелочный. Под ним — цифровой. Самое смешное то, что главный с момента обладания этим сокровищем всегда показывал парижское время.

Как будто два возможных положения в пространстве.

Я на секунду задержал взгляд.

Потом нажал кнопку.

Хронометр пошёл.

Секунды побежали.

Ровно. Без колебаний. Без сомнений.

И в этот момент стало ясно: это не просто отъезд.

Это отсчёт.

Я закрыл дверь.

И только тогда остановил хронометр.

2971.

Я посмотрел на цифры дольше, чем нужно. Как будто они объясняли всё, что произошло. Дверь родительской квартиры захлопнулась — как мне тогда казалось, навсегда.

Она была тяжёлой, обтянутой старым дерматином и напоминала большую, тревожную родинку, появившуюся неизвестно откуда. Дерматин давно потерял однородность цвета: туск-

лый коричневый фон пересекали тёмные прожилки, как на старой коже. Материал местами натянулся до блеска, а в других местах сморщился и покрылся мелкими трещинами. Казалось, что дверь не просто старая, а больная — её края были неровными, будто изъеденными, а вся она выглядела как чужеродное пятно, простёганное медными гвоздиками.

Я помню шероховатость этих шляпок под пальцами и специфический, сухой щелчок английского замка — звук, который отсек всё моё прошлое одним коротким движением металла. В этот момент квартира за дверью мгновенно превратилась в музей, где вещи замерли на своих местах, а я перестал им принадлежать.

Под окнами стояла бежевая четвёрка «Жигулей».

Мой друг, Игорь, гинеколог в Боткинской больнице, уже подъехал и спокойно курил, прислонившись к молодой берёзке, росшей прямо напротив подъезда. Он курил красное Marlboro — материализованную благодарность одной его пациентки, распуская вокруг себя запах «настоящей» заграничной жизни — резкий и чистый, смешанный с горьковатым духом набухающих берёзовых почек. Курил он по-особенному: неторопливо, где-то даже насмешливо, будто впереди было ещё много времени.

А время, между тем, было рассчитано почти по минутам.

В шестнадцать часов с Белорусского вокзала должен был отправиться поезд, который повезёт меня в Париж.

Мы вынесли вещи.

Три коробки книг — небольшие, но плотные, из жёсткого бежево-коричневого картона, стянутые перекрестьями сурового шпагата. В них была упакована моя будущая карьера: толстые тома по анатомии, топографической хирургии, фармакологии.

Я знал, что книги в Европе стоят немало, и тащил эти бумажные кирпичи через границы.

Тогда мне казалось, что именно они, мои книги — мой единственный фундамент в туманном французском будущем.

Я ещё не знал, что медицина на другом языке потребует, пускай и похожих, но совсем других слов, а эти учебники так и останутся нераскрытыми памятниками моему страху.

И маленькую сумку, где лежала смена белья и несколько самых необходимых вещей.

Коробки уложили в багажник. Сумку положили сверху.

Мы уселись в машину.

Друг — за рулём.

Я рядом с ним.

Родители и брат — сзади, тесно, почти вплотную.

В тесноте салона плыл аромат маминых духов — Fidji. Я подарил их ей на день рождения, девятого марта. Мама всегда грустно шутила, что у неё украли праздник, объединив его с женским днём, и теперь этот горьковато-цветочный шлейф казался мне запахом её тихой печали, навсегда связанной с этой весной и моим отъездом.

Дверцы хлопнули.

Минута 14-я

Машина тронулась.

Мы выехали со двора на Живописную улицу.

Я повернулся и посмотрел в окно.

Москва-река делала свой плавный изгиб, и над водой висела весенняя дымка. Где-то там, за этой дымкой, начиналось Строгино. Мне казалось, что я вижу всё это в последний раз.

Живописная улица вывела нас к Волоколамскому шоссе. Машин было немного. Москва тогда ещё не знала тех пробок, которые спустя годы станут её обычным состоянием. Визитной карточкой.

Я молчал.

Сидевшие сзади родители разговаривали с Игорем. Они давно не виделись и теперь спрашивали его о здоровье, о работе, о том, как вообще идут дела. Он отвечал спокойно, иногда посмеиваясь, и одной рукой уверенно держал руль.

Справа вскоре показалась церковь, которую в Москве многие называли русской Пизанской башней.

Это был Храм Всех Святых на Соколе — старая церковь XVIII века, построенная ещё в те времена, когда вокруг были деревни и сады. Светлые стены, зелёный купол и стройная колокольня, заметно наклонённая в сторону дороги. Наклон был небольшим, но достаточным, чтобы каждый раз, проезжая мимо, невольно ждать: неужели однажды она всё-таки решит упасть.

Она не падала.

Она просто стояла, слегка склонившись, как человек, который очень долго слушает собеседника.

Мы проехали мимо.

Волоколамское шоссе постепенно перешло в Ленинградский проспект. Дорога стала шире. Машины двигались быстрее.

Впереди появилась Ленинградская эстакада. Машина плавно пошла вверх, взбираясь на этот путепровод. С высоты эстакады открылся вид на крыши, на серые и жёлтые фасады, и впереди, как финал долгого пути, вырос фасад Белорусского вокзала.

Светлый фасад, колонны и декоративные детали, похожие на каменное кружево, всегда казались мне немного театральными — как декорация к большому спектаклю, в котором люди появляются лишь на несколько минут и сразу исчезают.

Прошло 27 минут.

Меньше получаса. Хронометр шёл ровно.

Мы остановились.

Минута 41

У вокзала кипела обычная привокзальная суeta. Люди спешили с чемоданами, перекликали носильщики в фуражках, пахло угольным дымом и горячим железом.

Мы открыли багажник.

Носильщик сразу подскочил, как тот самый сувенир для Мордюковой, ловко подхватил две коробки, потом третью, сверху пристроил мою сумку и, наклонившись вперёд под тяжестью тележки, покатыл их в сторону платформ.

Друзья наверняка уже были на вокзале.

Они должны были меня ждать не здесь, на площади, у стоянки машин, а там, где мы заранее договорились, за зданием вокзала, на платформе, у начала поезда.

Поезд ещё не подали.

До отправления оставалось меньше часа.

Я стоял рядом со своими коробками и вдруг понял, что забыл попрощаться с квартирой.

Просто вышел и захлопнул дверь.

Минута 43-я

Друзья уже стояли у начала платформы.

Поезда ещё не было.

Мы пожимали друг другу руки, обнимались, говорили какие-то ничего не значащие фразы. Кто-то спрашивал, сколько ехать до Парижа. Кто-то рассказывал последние новости — о знакомых, о работе, о какой-то мелочи, которая в обычный день могла бы показаться важной.

Разговор распадался на отдельные разговоры.

Каждый говорил о чём-то своём.

И все думали об одном.

Я уезжаю.

И, возможно, мы больше никогда не увидимся.

Теперь я знаю, что это было совсем не так. Но тогда это казалось невероятно очевидным.

Минута 46-я

Вторая платформа четвёртый путь.

Мы всё стояли у начала платформы и ждали.

И вдруг платформа вздрогнула от тяжёлого металлического удара.

Где-то за поворотом путей глухо лязгнуло железо.

Это локомотив сцепился с составом.

Поезд подавали на платформу.

Сначала появился тепловоз — чёрная громада с тусклым блеском металла. Потом из-за поворота медленно потянулись вагоны.

И поезд оказался странным.

Он был разномастным.

Сначала прошли обычные советские вагоны — тёмно-зелёные, тяжёлые. Плацкартные, с открытыми полками и открытыми купе на шесть человек, где не было дверей и всё пространство сразу становилось общим.

За ними тянулись вагоны получше — тоже зелёные, но уже купейные, с дверями, с мягкими полками и узкими коридорами.

Потом показались спальные вагоны — почти роскошные по советским меркам. В них было всего два места на одном уровне, без верхних полок, и казалось, что это уже почти гостиница на колёсах.

А потом появились вагоны из другой жизни.

Даже не из другой жизни — из другого мира.

Тёмно-синие, гладкие, почти блестящие. На их бортах белыми буквами было написано Voitures-Lits Schlafwagen Vagoni Letti — как будто название некой европейской железнодорожной компании.

И выглядели они соответственно. Так, будто приехали из какого-то другого времени.

Поезд медленно катился вдоль платформы, и казалось, что вместе с этими вагонами к перрону подползает целая география — разные страны, разные привычки, разные представления о том, как должен выглядеть мир.

Поезд замер. Все вагоны вытянулись в одну линию, как пеликаны над каким-то неведомым водоёмом — в ожидании — то ли знаков отправления, то ли последних пассажиров. Проводники стояли у своих дверей, и каждый из них был по-своему уникален, но у вагона с табличкой «Москва — Париж» проводник выглядел особенно торжественно. У него было монументальное выражение лица, как у того самого швейцара в гостинице «Националь» — где я периодически покупал по вечерам Marlboro, когда за два пятьдесят, а когда и за три рубля.

Подкатил носильщик. Мы начали выгружать коробки. Он ловко подхватил их и помог занести в купе, укладывая в специальную нишу наверху — над головами, но сбоку, чтобы они не мешали сидеть и не нависали над проходом.

Проводник с глубокомысленным видом равнодушно изучал мой билет и загранпаспорт с визами. Польская. Гэдээррошная. Немецкая. Бельгийская. Французская. Это был теперь мой единственный документ. Внутренний паспорт изъяли: бюрократическая система Советского Союза, не лишая меня гражданства формально, вычеркнула меня из списка людей, проживающих на его территории. Я перешёл в странную категорию «ПМЖ во Франции». Не найдя в документах никакого подвоха, проводник, выдохнув, вернул их и сказал:

— Ну всё, заселяйтесь.

Прозвучало это странно — «заселяйтесь». Как будто мне предстояло провести в этом вагоне не полтора дня, а всю оставшуюся жизнь.

Вагон уже был полон. Меня это удивило. Неужели все едут в Париж? Выяснилось, что нет. Большая часть людей выйдет ещё в Варшаве, кто-то продержится до Берлина и только мы с соседкой доехали до конечной станции. Моя соседка — попутчица по имени Ольга, женщина неопределённого возраста — немного старше меня, но не критично. Удивительно бесцветная, как вода в вагонном титане, хотя и одета во всё заграничное. Как выяснилось позже, она возвращалась из отпуска. Ездила домой, кажется, в Сызрань, а теперь путь её лежал в Марсель. Где она работала при советском консульстве — учила консульских детей русскому языку.

Говорила эта Ольга удивительно: её происхождение выдавало чёткое, неистребимое «оканье». Но поразило меня другое — она совершенно не говорила по-французски. Прожив больше года во Франции, она выучила лишь несколько слов для похода в ближайшую булочную и супермаркет. Я был нереально поражён: как можно жить в стране и не проявлять ни малейшего интереса к её языку, к её звукам?

Сказка скоро сказывается, а время шло своим чередом. Проводник начал обходить вагон, призывая всех провожающих освободить вагоны.

Я вышел на платформу. Вокруг стояли друзья. Я помню каждое лицо, каждое имя — имён я называть не хочу, а лица не могу описать просто потому, что это были самые милые, самые родные лица на свете. Позади меня была открытая дверь вагона, который вот-вот должен был тронуться.

Я обнялся с каждым. Потом — с родителями. И последним, кого я прижал к себе, был мой брат — он был младше меня на одиннадцать лет.

Я поднялся по ступенькам, дошёл до своего купе, но не сел, а замер в коридоре у окна, чтобы видеть перрон, видеть всех сразу.

Поезд тронулся так плавно, что возникло ощущение, будто он стоит на месте. Был только один короткий, едва заметный толчок в самом начале, а потом — иллюзия. Казалось, не поезд пошёл вперёд, а Москва оторвалась и начала медленно ускользать из поля зрения, куда-то вдаль, унося с собой разом и перрон, и лица, и всё моё прошлое.

К этому моменту прошло чуть больше часа с начала отсчёта.

Стук колёс, всё ускорявшийся и становившийся увереннее, быстро разрушил эту иллюзию. Вокзал исчез. Отступать было некуда. Позади — Москва. Впереди, как оказалось — новая жизнь.

Москва — Смоленск

Поезд шёл ровно.

Колёса выбивали размер — упорный, монотонный, как если бы металл пытался доказать собственную необходимость. Сначала ухо цепляется за этот звук, потом перестаёт замечать, а затем остаётся только ощущение — вибрация, идущая не снаружи, а изнутри, из самого тела вагона. Эта дрожь передавалась креслу, стакану в подстаканнике, костям черепа. Казалось, состав не едет по рельсам, а ввинчивается в пространство, преодолевая сопротивление самой материи ночи. Время внутри вагона густело, становясь вязким, как остывающий чай, в то время как снаружи оно несло с неистовой силой.

Снаружи — берёзы.

Ряды стволов тянулись вдоль полотна, как штрихи, нанесённые одной рукой и с одинаковым нажимом. Белизна коры пересекалась тёмными прожилками, как если бы по ней когда-то прошёл тонкий нож, оставив следы, которые так и не затянулись. Иногда возникало чувство, что это не деревья, а разметка пространства — знаки, которые кто-то расставил, чтобы не потеряться. Или, наоборот, чтобы подчеркнуть бесконечность тупика. Каждая берёза была лишь повторением предыдущей, механическим эхом, превращающим лес в бесконечный штрих-код, который невозможно считать.

Фонари появлялись между ними — редкие, жёлтые.

Как звёзды, опустившиеся слишком низко и не знающие, куда себя деть.

Взгляд задерживался — и происходило смещение. Линии расплзались, свет вытягивался, расстояние теряло устойчивость. Предметы начинали вести себя странно, словно кто-то незаметно менял правила их существования.

Доплер.

Не формула — ощущение.

Источник движется, и всё вокруг него перестраивается. Звук уходит, свет скользит, пространство ведёт себя не так, как должно. Частота существования менялась прямо на глазах. Мир впереди поезда сжимался, становясь плотным и тревожным, а мир позади — растягивался в бесконечную, остывающую пустоту. Ты находишься в точке вечного «сейчас», которая постоянно вспарывает реальность, оставляя за собой лишь шлейф искажённых звуков и выцветших красок. Это была деформация не физики, а смысла.

Поезд шёл.

Мир сдвигался.

Фонари, столбы, обрывки тьмы, случайные всплески света, какие-то силуэты, похожие то ли на птиц, то ли на клочья ночи, сорвавшиеся с веток. Встречный поток не давал зацепиться ни за одну деталь. Всё возникало — и сразу исчезало, не успевая стать формой.

Иногда казалось, что это уже не пейзаж.

Поток.

Хлопья.

Ночь стирала различия. Серость становилась универсальным состоянием. Граница между видимым и воображаемым размывалась до полного исчезновения. Возникал вопрос, на который не было ответа: продолжается ли реальность или это уже сон, просто слишком последовательный, чтобы его распознать.

Взгляд не отрывался от стекла.

Уверенности не было.

Поезд шёл.

Навстречу летел мир.

И вдруг — вспышка из другой плоскости.

Москва.

Зима.

Переход от ГУМа к метро.

Трое — я, Миша и ещё один Игорь, тот самый, который знал Мишу ещё с детского сада в Калининe. Встреча — случайная, почти столкновение. Американцы, ровесники, лица открытые, слова ломаются на полпути, английский распадается на отдельные звуки, но этого хватает. Они казались существами с другой планеты — не из-за одежды, а из-за какой-то невероятной, почти пугающей расслабленности мышц лица. Мы же были сжаты, как пружины, готовые к прыжку или удару. Их смех не имел двойного дна, их жесты были широки и неуместны в тесноте московского перехода. Мы обменивались фразами, как паролями, пытаясь нащупать общую почву в зыбком пространстве декабрьского вечера.

Сближение происходит мгновенно.

Через какое-то время — уже «Интурист».

Высота.

Этаж, где окна смотрят не на улицу, а на город как на карту. Огни Москвы внизу казались схемой секретного механизма, к которому у нас внезапно появился доступ. Номер дышал чужой, стерильной, киношной роскошью: портьеры, запах «пшеничного» табака (так швейцары и официанты называли американский табак) и того парфюма, который невозможно было нигде купить в Москве. Мы сидели в этом коконе, защищённые от внешнего мира валютным статусом отеля, и сама реальность за порогом номера казалась лишь нечёткой декорацией.

Водка — на их деньги.

Смех общий.

Затем — другое.

Свёрток, извлечённый из зимнего сапога. Внутри — ещё один, войлочный, как детская игрушка, спрятанная внутри более грубой оболочки. Между слоями — то, что не должно было здесь оказаться. Контрабанда самого духа свободы, невидимая для таможенников, но ощутимая для нас. Пальцы касались грубой ткани, предвкушая запретное. В этом жесте было что-то первобытное, ритуальное, как будто мы делили добычу в пещере, освещённой неоновыми вывесками центра города.

Москва. 1976 год. Декабрь.

Разговоры, теряющие форму. Стены номера начали медленно раздвигаться. Голоса друзей становились частью общего гула, в котором не было иерархии смыслов. Важным становилось не «что», а «как» — интонация, пауза, блеск глаз в полумраке.

И вдруг — кто-то вспоминал о дате.

Да. Сегодня ведь двадцать четвёртое декабря.

Сочельник.

Кто-то предлагает гадать.

Появляется Книга.

Американское издание. Русские слова, которые в обычной письменной жизни советского гражданина не существуют, разве что на заборе, здесь разложены по страницам, снабжены пояснениями, переведены, как будто это нормальный, допустимый язык. Это был какой-то странный словарь или антология запрещённой прозы — книга-фантом, отпечатанная на бумаге такой белизны, что она резала глаза. Для них это был культурный артефакт, для нас — живая плоть, вывернутая наизнанку. Мы смотрели на эти страницы как на гадальные карты Таро, где каждая типографская точка могла стать тавром — приговором или пророчеством.

Называются цифры.

Страница.

Строка.

Смех.

Когда очередь доходит до меня — случайное число.

Открывают.

Читают.

Реакция мгновенная.

Смех становится неконтролируемым, почти физическим, как если бы из людей разом выпустили весь воздух.

Фраза — про Париж. Та самая. Про накрывшуюся поездку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.